

Секст Тарквиний или принц Гарри?

Из заметок о «Графе Нулине»

Роман Лейбов

Тарту

1.

«„Граф Нулин“ писан в два дня, 13 и 14 декабря 1825 года», — охотно сообщает нам коллеги и любители отечественной словесности.

«„Кавказский пленник“ (кроме эпилога) закончен в Каменке 23 февраля 1821 года», — нехотя вспомнят отдельные специалисты по творчеству Пушкина.

Конечно, запомнить первую датировку легче: она соотносит пушкинскую поэму с восстанием декабристов и — что гораздо более важно — наше внимание на это обратил сам Пушкин.

Перед нами достаточно интересный с точки зрения типологии исторической рецепции случай. Вообще автокомментарии, активно воздействующие на восприятие текста, — нередкая вещь. Это могут быть собственно авторские примечания (как показал Ю.М.Лотман, Пушкин использовал примечания к поэмам для создания дополнительной смысловой перспективы),¹ либо метатексты вроде послесловия к «Крейцеровой сонате» (в этом случае «сложное» литературное высказывание переводится на язык «простого» публицистического). В случае с «Графом Нулиным» (далее — ГН) в роли такого текста выступает <Заметка о «Графе Нулине»> (далее — ЗГН), написанная, скорее всего, в 1830 г. в Болдино, которая примыкает к циклу автобиографических и лит-критических заметок, предвосхищающих жанр *Table-talk* и обладающих, с одной стороны, некоторыми признаками законченности, но, с другой стороны, оставшихся неперебеленными. Напомним принятую в пушкиноведении реконструкцию этого широко известного неозаглавленного фрагмента:

В конце 1825 года находился я в деревне. Перечитывая Лукрецию, довольно слабую поэму Шекспира, я подумал: что если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию? быть может это охладило б его предприимчивость и он со стыдом принужден был отступить? — Лукреция б не зарезалась, Публикола не взбесился бы, Брут не изгнал бы царей, и мир и история мира были бы не те.

Итак, республикою, консулами, диктаторами, Катонами, Кесарем мы обязаны соблазнительному происшествию, подобному тому, которое случилось недавно в моем соседстве, в Новоржевском уезде.

Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась, я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть.

Я имею привычку на моих бумагах выставлять год и число.

Гр. Нулин писан <?> 13 и 14 дек<абря>. — Бывают странные сближения.²

2.

Этот текст, опубликованный еще Анненковым, долгое время оставался незамеченным интерпретаторами ГН; первым обратил на него пристальное внимание М. О. Гершензон,³ увидевший в ЗГН ключ к тайному смыслу поэмы.

Заметка Пушкина очертила два поля интерпретации его поэмы: во-первых, это — пушкинский шекспиризм и философия истории вообще, во-вторых, — история декабрьского восстания и биографические обстоятельства Пушкина, случайным образом не сделавшегося участником возмущения.

Между тем, попробуем представить себе, что ЗГН не дошла до нас. Какова была бы история интерпретации ГН? Можно предположить, что на связь ГН с «Лукрецией» Шекспира обратил бы внимание уже П.О.Морозов (во всяком случае — М.П.Алексеев или Ю.Д.Левин); если бы эта параллель вошла в научный обиход к 20-м гг. прошлого столетия, она, несомненно, имплицировала бы и построения Ю.Н. Тынянова (связавшего ГН с «Борисом Годуновым»),⁴ и гипотезу Б.М. Эйхенбаума (увидевшему в шекспиризме ГН ответ на «Шекспировых духов» Кюхельбекера).⁵

Несомненно, рано или поздно привлекла бы внимание и датировка поэмы, однако это «странное сближение», скорее, вдохновило бы эссеистов и беллетристов, а не академических исследователей. Вряд ли эти два факта без пушкинского указания как-нибудь связались бы между собой, и уж совсем маловероятно, что в поэме увидели бы рассуждение о случайном и закономерном в истории. Трактовка поэмы как «загадочной», «пророческой», требующей специальных ключей для прочтения, не получила бы важного импульса.

Таким образом, перефразируя ЗГН, одному случайно сохранившемуся листу бумаги с черновой записью мы обязаны множеством концепций. Ни обнаруживающая в ГН апокалиптические подтексты остроумная работа Б.М.Гаспарова,⁶ ни гораздо менее изящные, на наш взгляд, хотя и сходные по выводам построения московского пушкиниста В. Есипова⁷ не получили бы «авторской санкции». Не дойди до нас пушкинская заметка, скорее всего мы лишились бы и феерической гипотезы В.П.Старка о том, Пушкин был остановлен на пути в Петербург вовсе не зайцем, перебежавшим дорогу, но «соблазнительным происшествием», сходным с описанным в поэме.⁸

В том же 1830 году, в болдинской черновой заметке, посвященной второму тому «Истории русского народа» Полевого, Пушкин писал:

Гизо объяснил одно из событий христианской истории: европейское просвещение. Он обретает его зародыш, описывает постепенное развитие, и отклоняя всё отдаленное, всё постороннее, случайное, доводит его до нас сквозь темные, кровавые, мятежные и наконец <?> расцветающие века. Вы поняли великое достоинство фр<анцузского> историка. Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою; что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенных Гизотом из истории христианского Запада. — Не говорите: иначе нельзя было быть.

Коли было бы это правда, то историк был бы астроном, и события жизни человек<ества> были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но провидение не алгебра. Ум ч<еловеческий>, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из одного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая — мощного, мгновенного орудия провидения.⁹

Именно эта линия рассуждений, конечно, определила историческую концепцию ЗГН, но проецировать ее на поэму 1825 года (к чему склоняется В.П.Старк) нам кажется неправомерным.

Следует отдать должное русской пушкинистике: мистико-историософская трактовка ГН разделяется далеко не всеми исследователями. Назовем здесь Л.С.Сидякова, рассмотревшего поэму в контексте работы над «Евгением Онегиным» и увидевшем в ГН что-то вроде «комментария» к 4-й главе романа.¹⁰ Однако в первую очередь, следует упомянуть решительно возражавшего против нагружения поэмы Пушкина шлейфом дополнительных смыслов Г.А.Гуковского, настаивавшего, что «<...> в тексте поэмы <...> второго плана нет. В поэме содержится бытовой анекдот — и только. Ее принципиальность, как произведения искусства, заключена только в мастерстве бытового рассказа, живых характеристиках современных рядовых людей, в легкой остроумной сатире».¹¹

Мнение Гуковского совпадает с восприятием поэмы ее первыми читателями: Вяземский называл ГН «сказкой Бокаччо XIX века».¹² Заметим, что примерно таким же образом описывал генезис и литературный смысл ГН и П.О. Морозов: «<...> пародия на шекспировскую Лукрецию отлилась в форму легкого, пикантного анекдота в стиле байроновского Верро, за которым Пушкин отдохнул от только что законченного серьезного труда над Борисом Годуновым».¹³

Перед нами интересный и редкий случай: достаточно понятная ироническая поэма, соединяющая травестию высокого сюжета и травестию повествовательной формы (напомним, что в письме к П.А.Плетневу от 7 (?) марта 1926 г. Пушкин называет ГН «поэмой в духе Верро», скрыто противопоставив барда древности современному британскому поэту) *затемняется* объясняющим ее генезис прозаическим отрывком. При этом сам данный отрывок (ЗГН), имеющий неясную прагматику и далеко не сразу введенный в читательский и исследовательский обиход, при ближайшем рассмотрении оказывается далеко не прозрачным и нуждающемся в комментарии.

Продолжим прерванную выше цитату из Гуковского: «Мысли о Шекспире и об истории остались за пределами текста поэмы, по-

служив лишь толчком к созданию ее. Между тем эти мысли *были* <...> Эти мысли все же оставили след и в самом тексте поэмы, хотя они и не определили ее состава и содержания». ¹⁴

Как нам представляется, ЗГН может выступать не в роли ключа к интерпретации поэмы, но в роли инструмента реконструкции именно исходного импульса.

В 1830 г., ретроспективно увязывая события 14 декабря и размышления о случайности в истории, Пушкин, конечно, иронизирует. Как указал Гуковский (а до него — В. Зотов¹⁵), Пушкин прекрасно знал, что пощечина в Древнем Риме не была знаком бесчестья и никак не могла бы остановить насильника. Кроме того, и у Шекспира, и во всех античных источниках присутствует важная мотивировка уступки Лукреции (Тарквиний грозит убить Лукрецию и подбросить ей в постель заколотого раба, обесчестив тем самым ее посмертно). Вместе с тем, глядя из 1830 года на ГН, Пушкин, возможно, обратил внимание на соблазнительное «сближение», проецирующее события древней истории, приведшие к падению царей в Риме, на историю новейшую (неудачная попытка свержения русской монархии).

3.

Монолог инициальной героини «довольно слабой поэмы Шекспира», содержит среди прочего пассаж, обосновывающий низвержение Тарквиниев. Цитируем отрывок из русского перевода В. Левика, достаточно близкий и к оригиналу, и к французскому переводу, который читал Пушкин:

Ты, как Тарквиний, мною принят был!
 Но облик царский предал ты позору...
 Я умоляю сонмы высших сил
 Тебя сурово покарать, как вора!
 Ведь ты не то, чем кажешься, коль скоро
 Ты кажешься не тем, что есть — царем!
 Царь должен бой, как бог, вести со злом!

Какими в старости блеснешь делами,
Когда полна злодействами весна?
И, возмущаясь царскими сынами,
Что ж может от монарха ждать страна?
Запомни — даже подданных вина
Хранится долго в памяти народа,
А деспот царь — неизгладим на годы!

И лишь насильно будешь ты любим,
Владык же добрых любят и страшатся...
Ты все простишь преступникам любим,
Раз мог в злодействах с ними поравняться!
Не лучше ль будет с ними не сближаться?
Цари — зеркало и наука нам,
А мы стремимся подражать царям!¹⁶

Сюжет о наследнике, совершившем бесчестное насилие и тем самым дискредитировавшем династию, находил у людей пушкинского времени немедленную и прямую параллель в недавней истории.

В. И. Штейнгель вспоминает:

В воскресенье 12 числа (прим. С.П.Трубецкого: «14 декабря было в понедельник, следовательно, 12-е не могло быть в воскресенье, а было в субботу») у директора Российско-Американской компании (И.Прокофьева — *Р.Л.*) был обед, на котором присутствовали многие литераторы, в том числе Греч, Булгарин, Марлинский, сенатор граф Д.И.Хвостов и другие. Шумный разговор оживлял общество, особенно к концу стола, когда все присутствующие поразгорячились от клико «V.S.P. под звездочкой», которое тогда считалось лучшим. Греч и Булгарин ораторствовали более прочих; острофы сыпались со всех сторон и в самом либеральном духе. Даже гр. Хвостов, заметив, что указывают на него из предосторожности, кричал: «Не опасайтесь, не опасайтесь! я либерал, я либерал сам». Хотя большая часть знали уже о предстоящей перемене владык, но говорили гадательно, придерживаясь за «может быть». И когда кто-то сказал: «а что если император вдруг явится?» Булгарин вскричал: «как ему явиться, тень мадам Араужо остановит его на заставе».¹⁷

Штейнгель делает к этому месту примечание, объясняя эту (заметим, первую, пришедшую в голову Булгарина при упоминании о Константине) аллюзию:

Это была самая гнусная история, омрачившая начало царствования Александра. Араужо был придворный, ювелир, жена которого славилась красотой. Константин-цесаревич, пленясь ею, чрез посредников сделал ей оскорбительное предложение. Она отвечала явным презрением. Летом 1803 года, в один день под вечер, за ней приехала карета, будто бы от ее больной родственницы. Когда она сошла и села в карету, ее схватили, зажали ей рот и отвезли в Мраморный дворец. Там были приготовлены конногвардейцы... Она потом отвезена была к своему крыльцу, и когда на звон колокольчика вышли ее принять, кареты уже не было. Несчастная Араужо, бросившись почти без чувств, могла только сказать: «я обесчещена!» и умерла. На крик мужа бежалось множество: свидетельство было огромное! На другой же день весь Петербург узнал об этом. Произошел общий ропот. От имени государя, огорченного в высшей степени, прибито было ко всем будкам столицы на 24 часа объявление, которым приглашались все, кто знает хотя малейшее обстоятельство из этого гнусного происшествия, прямо к императору, с уверением в обеспечении от всякого преследования сильных. Составлена была комиссия под председательством старца гр. Татищева, который всячески отказывался; но уговорили и, наконец, дело повернули так, что по *подозрению* генерала Боура, любимца Константина, *выключили* из службы.¹⁸

Н. И. Греч в своих мемуарах фиксирует несколько иной вариант истории:

В Петербурге жила молодая вдова португальского консула Араужо, и жила немножко блудно. Однажды поехала она в гости к придворной повивальной бабушке Моренгейм, жившей в Мраморном дворце, принадлежавшем великому князю Константину Павловичу, осталась там необыкновенно долго и, воротясь домой в самом расстроенном положении, вскоре умерла. Разнеслись слухи, что она как-то ошибкою попала на половину великого князя и что он с помощью приятелей своих, адъютантов и офицеров, поступил (в первом варианте текста значилось: «изнасильничал ее» — *Р.Л.*) самым злодейским образом. Слух об этом был так громок и повсеместен, что правительство, публичным объявлением, приглашало каждого, кто имеет точные све-

дения об образе смерти вдовы Араужо, довести о том до сведения правительства. Разумеется, никто не явился.¹⁹

Без подробностей и даже без имен — но зато с важным указанием на значение сюжета для неблагоприятной репутации наследника в обществе — излагает историю г-жи Араужо Роксана Скарлатовна Эдлинг:

В первые годы царствования Александра одна из его <Константина> оргий сопровождалась плачевными последствиями. Публика приходила в ужас, и сам государь вознегодовал до того, что поведал нарядить самое строгое следствие, без всякой пощады его высочества: так именно было сказано в приказе. Однако удалось ублажить родителей потерпевшей жертвы и, благодаря посредничеству императрицы-матери, постарались покрыть случившееся забвением. Но общество не было забывчиво, и великий князь, не лишенный прозорливости, читал себе осуждение на лицах людей, с которыми встречался. Это жестоко его обижало, и он, в свою очередь, возымел настоящее отвращение к стране своей. Живой образ злосчастного отца своего, он, как и тот, отличался живостью ума и некоторыми благородными побуждениями; но в то же время страдал полным отсутствием отваги, в физическом и нравственном смысле, и не был способен сколько-нибудь подняться душой над уровнем пошлости.²⁰

Источником, наиболее синхронным событийной канве, следует считать основанные на поденных записях записки гр. Ф.П.Толстого, чья любовница баронесса Штейн жила в Петербурге, как и госпожа Араужо, в Большой Миллионной, так что вариант Толстого, возможно, зафиксировал городскую легенду еще на стадии «околоточной»:

Сегодня умерла жившая в Большой Миллионной одна госпожа по фамилии Араужи. Вчера она выехала из своей квартиры после обеда совсем здоровою, а в первом или во втором часу ночи была привезена в наемной карете и внесена в ее квартиру, и оставлена в первой комнате в совершенном бесчувствии в одной изодранной грязной рубашке. Эта женщина была в коротких связях с генералам Бауром, безнравственным подлым кутилою, фаворитом и другом великого князя Константина Павловича. Его высочество, узнав об этой связи и увидев Араужи,

пожелал ее иметь. Услужливый подлец охотно уступил ему свою любовницу, но она, любя Баура, с гордостью отринула предложение любви Константина Павловича, и что они ни делал, она не поддавалась. Озлобленный презрением к его страсти, великий князь придумал ужаснейшее наказание для Араужи. Он приказал своему любимцу вчера пригласить эту несчастную женщину к себе на квартиру, где было приготовлено с дюжину конногвардейских солдат, которым по ее приезде приказано было поочередно изнасиловать эту жертву неслыханного зверства, исполненного, как утверждают, в присутствии самого изобретателя наказания. В городе всюду громко говорят об этом происшествии, жестоко негодуют, а оно остается без наказания.²¹

История несчастной г-жи Араужо относится к разряду «городских легенд» начала александровского царствования. Контекст охвативших Петербург слухов — это первая годовщина убийства Павла I, ожидание знамения о конце династии: роковое происшествие с г-жой Араужо пришлось как раз на 10 марта.

Признаки «городской легенды» в этом сюжете налицо: жертва именуется то женой, то вдовой, причем ее (покойным) мужем оказывается то купец, то придворный ювелир, то португальский консул. Сама г-жа Араужо иногда является, как у Штейнгеля, совершенно невинной жертвой, иногда же оказывается также небезгрешной (наиболее интересный вариант находим у Толстого — здесь намечен сюжет роковой любви к безнравственному генералу Боуру²²). Насилие иногда совершается коллективно Константином и его клеветами, иногда же клеветы действуют самостоятельно, хотя это и не снимает вины с наследника-цесаревича.

Достоверно известно нам лишь содержание расклеенной в Петербурге афиши, которая дважды перепечатывалась в царствование Александра II (в «Колоколе» — как образец мерзостей, совершившихся «в атмосфере зимнего дворца»²³ и в «Русской старине» как пример гласности в царствование Александра I). Здесь покойная именуется «женой купца Араужо», визит ее к генералу Бауру подтверждается показаниями последнего.

На втором следствии Баур сообщал, что «будучи давно знаком как с госпожою Араужо, так и со всем домом отца ея», договорился с ней о встрече «об устройении на будущее время жребия детей ея». Генерал

утверждал, что «она по приезде тотчас жаловалась, что правую сторону неудобно владеет и что ей тошно, после чего стало ее рвать», затем, по словам генерала, он «в крайнем смущении, употребив все возможные ему способы оправить несколько ее состояние, и успев в том, проводя ее до самой кареты, отправил <...>, по собственному ее требованию, обратно к г-же Моренгейм».²⁴

В афише также имеются показания свидетелей, записанные во время первого следствия:

Около осьми часов вечера <...> госпожа Моренгейм <...> вызвана была <...> девкою своею в другую комнату, где нашла госпожу Араужо лежащую в обмороке; употребив различные способы достигли до того, что возвратили ей полное чувство; но говорить могла она токмо с превеликим трудом и отрывистыми словами, требуя, чтобы ее раздели, чтобы дали ей чистое белье, чтобы послали за доктором Бутацом, за ее каретою и девкою <...>

Камердинер государя великаго князя *Константина Павловича*, Рудковский, сказал, что того же 10-го марта, вечером, живущий у него вольный лакей Новицкий объявлял ему, что он видел какую-то больную женщину вели два лакея от господина Баура в карету, и он сам ее провожал; на другой же день на спрос о том Рудковского, Баур отвечал, что ему рекомендовали француженку, которой, по приезде к нему, сделался обморок, вероятно не желая обнаружить фамилии Араужо, как давней его знакомой. <...>²⁵

В афише опровергалась версия насилия, и характерно, что «разнообразные слухи» о смерти г-жи Араужо отразились только в следующем пассаже:

Доктора <...>, пользовавшие больную, письменно утвердили, что она была в совершенном параличе, и что ни малейших даже знаков насилия ей, яко-бы учиненнаго, приметить не могли. Жена стекольного фабриканта, вдова Шенфельдера,²⁶ обмывавшая тело умершей, показала, что на оном не только знаков к заключению о насильственной смерти, ниже малейшаго пятна не было. Отец и сестра умершей на двукратное спрашивание объявили, что в причинах к насильственной ее смерти ни малейшим и сомнением себя не беспокоят и поводу к таковому заключению не имели.²⁷

Кажется, нет необходимости доказывать, что Пушкину, вращавшемуся в конце 1810-х—начале 20-х гг. в среде, где слухи и легенды, связанные с царствующей фамилией, активно распространялись и культивировались, была хорошо знакома история несчастной г-жи Араужо.

4.

Личность Константина, с 27 ноября по 13 декабря 1825 г., считавшегося российским императором, несомненно, занимала тогда Пушкина.

Очевидно, именно с Константином Павловичем Пушкин связывает надежды на скорое прощение и получение разрешения на выезд за границу; в экстагическом по тону письме Плетневу, написанном 4—6 декабря об этом говорится прямо:

Если братъ, так братъ — не то что и совести мараť — ради Бога, не просить у царя позволения мне жить в Опочке или в Риге; чорт-ли в них? *а просить или о въезде в столицы или о чужих краях.* В столицу хочется мне для вас, друзья мои, — хочется с вами еще перед смертью поврать; но конечно благоразумнее бы отправиться за море. — Что мне в России делать?²⁸

Показательно, что в написанном в те же дни (и посланном по почте, т.е. рассчитанном на перлюстрацию) письме Катенину (от 4 декабря 1825 г.) Пушкин характеризует нового государя, прибегая к аналогии именно с шекспировским героем:

Может быть нынешняя перемена сблизит меня с моими друзьями. Как верный подданный должен я конечно печалиться о смерти Государя; но как поэт, радуюсь возшедствию на престол Константина I, в нем очень много романтизма; бурная его молодость, походы с Суворовым, вражда с немцем Барклаем напоминают Генриха V. — К тому же он умен, а с умнь и людьми все как-то лучше; словом я надеюсь от него много хорошего. — Как бы хорошо было, если нынешней зимой я был свидетелем [тв.] и участником твоего торжества! участником, ибо твой успех не может быть для меня чуждым; но вспомнят-ли обо мне? Бог весть.²⁹

Эта аналогия, по нашему мнению, должна рассматриваться как своего рода полемика с сюжетом шекспировской «Лукреции» посредством шекспировских же исторических хроник. На роль двойника императора избирается не «покровитель разврата», насильник, запятнавший трон бесчестным преступлением и погубивший династию, но будущий великий и мудрый государь, в бурной молодости вращавшийся в кругу сомнительных личностей.

Сюжет «Лукреции», который вполне мог в конце 1825 г. всплыть в памяти Пушкина в связи с размышлениями о личности императора и о печальной истории г-жи Араужо, вытесняется вскоре в анекдотическую двусмысленную повесть, фабула которой строится (как и в байроновском «Беппо») на отсутствии действия, а сюжет дает неожиданный поворот в финале.

5.

Возвратимся в Болдино. Глядя из 1830 на 1825, можно было уловить в этом сцеплении исторических и автобиографических мотивов еще одно странное сближение, сходное с техникой иронического пушкинского повествования. в ГН

14 декабря 1825 г. г-жа Араужо была отомщена, и ее (предполагаемый) обидчик был детронизирован. Но совершилось все вовсе не так, как следовало бы, исходя из Тита Ливия, Плутарха, Овидия или Шекспира. С криками «Ура, Константин!» на площадь вышли позавчерашние собутыльники радикального Булгарина-радикала.

Неучастие же автора ГН в мятеже, выглядящее в собственных (впрочем, также позднейших) описаниях Пушкина, как случайность, оказывалось замещенным написанием истории о неудавшемся покушении нового Тарквиния.

Это привело в итоге к полному прощению и установлению личных отношений с новым монархом, одобрявшим впоследствии шутовскую поэму «в духе Верро».

Безвестный при жизни, но увековеченный посмертно заяц из псковских лесов, обернувшийся охотничьим трофеем мужа Натальи

Павловны в финале «Графа Нулина», кажется едва ли не метонимической родней заячьего тулупчика Петруши Гринева.

Примечания

¹Ю.М.Лотман, «К структуре диалогического текста в поэмах Пушкина: (Проблема авторских примечаний к тексту)», *Ученые записки Ленинградского гос. педагогического института*. Вып. 434. *Пушкин и его современники* (Псков, 1970), стр. 101–110.

²А.С.Пушкин. *Полное собрание сочинений*. В 16 т. Том 11. *Критика и публицистика. 1819–1834* (Москва-Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1949), стр. 188.

³М.О.Гершензон, «Граф Нулин», в его кн.: *Статьи о Пушкине* (Москва: Academia, 1926).

⁴Ю.Н.Тынянов, «Пушкин», в его кн.: *Пушкин и его современники* (Москва: Наука, 1969).

⁵Б.Эйхенбаум, «О замысле «Графа Нулина»», *Пушкин. Временник Пушкинской комиссии*. Вып. 3 (Москва – Ленинград: Издательство Академии Наук СССР), 1937.

⁶Б.М.Гаспаров. *Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка* (Wien, 1992), стр. 252–267.

⁷В.М.Есипов, «О замысле «Графа Нулина»», *Московский пушкинист*. Вып. 2 (Москва, 1996), стр. 7–29.

⁸Смелый исследователь даже находит кандидатуру на роль прототипа Натальи Павловны — это ругодивская помещица Наталия Николаевна Шушерина, престарелая кокетка и подруга молодости матери Пушкина (!). Отдав столь оригинальным образом долг биографизму, В.П.Старк возвращается в лоно историко-философских толкований и заключает: «в действительности своей поэмой Пушкин <...> хотел сказать и сказал, что идеи либерально-конституционного толка, которые воплощены в поэме „ужасной книжкой Гизота“, справедливые и годные для Европы, неприемлемы для России». — В.П.Старк, «Поэма Пушкина „Граф Нулин“ и шекспировская «Лукреция»», *Символизм и русская литература XIX века (памяти А.С. Пушкина и А.А.Блока)*. 06.02 – 10.02.2001. *Пушкин и Шекспир*. 24.09 – 30.09.2001. *Материалы*. Отв. ред. В. М. Маркович (Санкт-Петербург, 2002), стр. 245–261.

⁹А.С.Пушкин. *Полное собрание сочинений*. Том 11, стр. 127.

¹⁰Л.С.Сидяков, «„Евгений Онегин“, „Цыганы“ и „Граф Нулин“», *Пушкин. Исследования и материалы*. Т. VIII (Ленинград: Наука, 1978), стр. 5–21.

- ¹¹Г.А.Гуковский. *Пушкин и проблемы реалистического стиля* (Москва: ГИХЛ, 1957), стр. 74–75.
- ¹²П.А.Вяземский. *Записные книжки* (Москва: Наука, 1963), стр. 72.
- ¹³П.О.Морозов, «Граф Нулин», в кн.: А.С.Пушкин. *Собрание сочинений*. Т. II (Санкт-Петербург: Брокгауз и Ефрон, 1908) («Библиотека великих писателей»), стр. 383.
- ¹⁴Г.А.Гуковский. *Пушкин и проблемы реалистического стиля*, стр. 75.
- ¹⁵В.Зотов, «Граф Нулин и юмористические поэмы Пушкина», *Северное сияние* (С.-Петербург, 1862), том 1, стлб. 289–298.
- ¹⁶В.Шекспир. *Полное собрание сочинений*. Т. 8 (Москва: Искусство, 1960), стр. 389.
- ¹⁷В.И.Штейнгель, «Автобиографические записки», в его кн.: *Сочинения и письма*. Том 1 (Иркутск: Восточно-сибирское книжное издательство, 1985), стр. 153–154.
- ¹⁸В.И.Штейнгель, «Автобиографические записки», стр. 153.
- ¹⁹Н.И.Греч. *Записки о моей жизни* (Москва: Книга, 1990), стр. 124–125.
- ²⁰Р.С.Эдлинг, «Записки», *Державный сфинкс* (Москва: Фонд Сергея Дубова, 1999), стр. 176.
- ²¹*Записки графа Ф.П.Толстого* (Москва: РГГУ, 2001), стр. 140.
- ²²Отметим, что Карл Федорович Бадер (Боур), генерал-майор, командир кавалерийской бригады в Швейцарском походе А.В.Суворова, шеф Павлоградского гусарского полка в кампании 1805 г., командующий кавалерийской дивизией в походе корпуса С.Ф.Голицына в Австрию 1809 г., памятен, в первую очередь, как адъютант Г.А.Потемкина, употребляемый по курьерской части. Таким образом, за сюжетом смерти г-жи Араужо может скрываться аналогия современности с екатерининской эпохой, трактуемой не как «век Астреи», но как деспотическое царство Семирамиды, эпоха дикого фаворитизма и беззакония. О двусмысленности выражения «Северная Семирамида» применительно к Екатерине II см.: А.А.Долинин, «Северная Семирамида: Примечание к докладу „Пушкин и Байрон: новые замечания к старой теме“, прочитанному на Тыняновских чтениях 2006 года и, кажется, понравившемуся Кириллу Юрьевичу Рогову», *Кириллица, или Небо в алмазах: Сборник к 40-летию Кирилла Рогова* (www.ruthenia.ru/document/539839.html).
- ²³Заметка, озаглавленная «Шестьдесят лет тому назад», сопровождалась редакционной преамбулой: «Наш Веверлей не будет до такой степени романтичен, как вальтерскотовской. В наших романах, совершавшихся в атмосфере зимнего дворца, иной колорит. Мы перепечатаваем слово в слово замечательное объявление Петербургской полиции, обнародованное 30

Марта 1802. Считаю необходимым прибавить, что петербургские старожилы рассказывали дело так, — что цесаревич Константин, раздраженный упорством несчастной жертвы — *отдал ее на изнасилование*, каким-то злодеям, товарищам этого милого Дон Жуана императорской семьи», «Шестьдесят лет тому назад», *Колокол*. 1862, 01.08., Лист 140, стр. 1161.

²⁴«Примеры гласности в царствование Александра I-го. 1802–1809», *Русская Старина*. Том 12 (1875), № 3 (март), стр. 632.

²⁵«Примеры гласности в царствование Александра I-го. 1802–1809», стр. 630–631.

²⁶Эта фраза из афиши позволяет понять противоречия в описании матримониального статуса г-жи Араужо в источниках: вдова в описываемую эпоху продолжала именоваться «женой».

²⁷«Примеры гласности в царствование Александра I-го. 1802–1809», стр. 631.

²⁸Пушкин. *Письма*. Том 1 (Москва–Ленинград: Государственное издательство, 1926), стр. 172.

²⁹*Там же*, стр. 173.

The Real Life of Pierre Delalande

Studies in Russian and Comparative Literature
to Honor Alexander Dolinin

Edited by
David M. Bethea
Lazar Fleishman
Alexander Ospovat

PART 1

Stanford, 2007